

ОКОЛО РИВОЛИ, или Капризы фортуны

Когда Иван Иванович впервые очутился в Париже, романтические миражи уже потускнели. Ему было за сорок, представляете? История приобрела вполне конкретные черты. Она перечитывалась как книга. И вот Париж, и флер загадочности растворился в апрельском воздухе. Дома были знакомы по репродукциям, и кружевной фигуре д'Артаньяна не было места в говорливой, холодноватой штатской толпе. Ну, может быть, головы голубоглазых парижских спаниелей, лениво, по-хозяйски развалившихся на тротуарах, на краткий миг напоминали голову Людовика в рыжем парике да мясники с оптового рынка в забрызганных кровью белых фартуках представляли выходцами из бывшего, да и то как-то условно.

Однако это вовсе не означало, что Иван Иванович был равнодушен к увиденному. Нет, и его охватило восхищение, едва он покинул поезд, и вышел на привокзальную площадь, и смешался с парижской толпой, и ажурные дома Парижа окружили его. И дети говорили по-французски и даже бродяги! И парижские красотки хоть и не были писаными красавицами, но незнакомый шарм, и независимая, раскованная походка, и серебряные интонации, и строгий взгляд — какое неведомое племя! Он-то воображал, что парижские дамы, словно в Тбилиси, медленно плывут сквозь этот мягкий благословенный воздух, томные, ленивые, умиротворенные, — а тут четкий ритм, все такое деловое, почти стремительное. И ведь ни одна не посмотрела в его сторону, не оглядела с плохо скрытым любопытством, как, бывало, москвички... Сначала это вызывало легкое недоумение и даже обиду. Он пристально оглядывал каждую и при этом загадочно улыбался или пренебрежительно кривил губы, но они торопились мимо, не замечая его сигналов. Но вскоре он к этому привык и заспешил в общем потоке, уже не ловя заинтересованных взглядов, слегка презирая себя за унижительное ожидание этого внимания. Да, привык и уже не пытался разглядеть очаровательных, утонченных, крикливо разодетых манекенщиц, а смотрел на их будничные одежды будничными глазами посвященного в эту доселе неведомую игру.

Иван Иванович приехал в Париж в 1968 году с туристской группой московских писателей. Разместились они в затрапезном, вшивом отельчике, но неподалеку от улицы Риволи, а это определяло реноме строения, а кроме того, и давнее происхождение, почти из средневековья. И даже то, что оно в недавнем прошлом было заурядным публичным домом, наполняло его в глазах потрясенных москвичей загадочным очарованием. Смешение времен также весьма украшало его. Веселые изысканные обои, блистающие бра, но древние скрипучие лестницы, звукопроницаемые двери и специфическое устройство номера: широкая кровать, возле которой не тумбочка, как обычно, а натуральное биде, у окна раскоряченное кресло минувшего века под ветхим гобеленом, а за фанерной условной перегородкой — современный унитаз и умывальник. Да, еще крохотная тумбочка с телефоном. Зато было приятно, услышав вопрос о месте расположения отеля, бросить чуть небрежно: «Около Риволи...» — и поймать в ответ многозначительное «О!..».

Короче говоря, он проживал в Париже — неведомом, недостижимом, но знакомом, внезапном и распахнутом настезь. Конечно, как это водилось, перед отъездом их всех предупреждали об опасностях, таящихся в капиталистическом обществе, о возможностях провокаций, и он был слегка начеку, но как-то все-таки лениво, как-то несерьезно...

Не хотелось отравлять свое пребывание в угоду надоевшим нормам, хотелось быть по-парижски раскованным и независимым. И он старательно нарисовал в своей душе себя са-

мого вот таким, и только таким, и в фас и в профиль. И горничная на скрипучей лестнице с улыбкой пропела ему «бонжур», и он уронил свое «бонжур», проходя мимо и робко надеясь, что она приняла его за местного, за своего.

Все его туристские деньги состояли из девяноста франков. А в те давние времена личные туфли стоили семьдесят пять. Но туфли у него были. Погода стояла прекрасная. Он проживал в Париже! Париж, естественно, ничего о нем не знал. И у Ивана Иваныча даже мысли не возникало о возможности как-то раскрыться перед этим прекрасным городом великих шансонье. Париж жил по своим законам и вкусам — легко, возвышенно, заурядно и размашисто, и в этом не было ничего оскорбительного, то есть в его невнимании к песням Ивана Иваныча. Он побывал с группой на Монмартре, насмотрелся на толпы веселых неумных безвестных художников, торгующих своими полотнами, которых почти никто не покупал. Какими должны быть везение и талант, думал он, чтобы стать заметным в этом шумном и грохочущем котле, чтобы сама Франция, думал он, глянула в твою сторону хотя бы с полдневным интересом, где уж там с восхищением... Но эти размышления, как ни странно, не удручали его, настолько недостижимо выглядело здешнее признание, и он с удовольствием ощущал себя нормальным туристом, и дышал парижским воздухом всей грудью, и наслаждался каждой минутой бытия. В этом призрачном скоропалительном существовании была своя прелесть. Никто тебя не замечал, ты был предоставлен самому себе, а тут еще, надо сказать, их туристская группа почему-то, по какому-то там недосмотру, была лишена пристального внимания и не контролировалась никем, то есть, может быть, и контролировалась и даже наверняка, но как-то вяло и исподтишка, и поэтому всем казалось, что они вольны, и старались жить сообразно своим вкусам, встречаясь в основном лишь за завтраком, обедом и ужином. Иногда, правда, если планировалось что-нибудь крайне интересное, вроде посещения Лувра или того же Монмартра, отправлялись все вместе в туристском автобусе. И уже распоясывались и спрашивали руководителя группы: «А в “Юманите” нас поведут?» — или заявляли, что предпочитают погулять в одиночестве, на что руководитель неизменно и покорно соглашался. Кстати, о «Юманите» чуть ниже.

И вот утром второго дня за завтраком, когда все проглатывалось торопливо и безвкусно, лишь бы как-то набить желудок и мчаться по собственным вожделенным маршрутам, когда даже свежие парижские рассыпающиеся круасаны пережевывались как какие-то заурядные кусочки хлеба, Иван Иваныч вспомнил почему-то нелепый эпизод, случившийся в Москве перед самым отъездом.

Их всех собрали в каком-то туристическом управлении и, несмотря на их писательское положение и возраст и достаточно известные имена уже некоторых из них, долго и униженно инструктировали, как вести себя в капиталистическом мире. Впрочем, слово «униженно» вставлено мной сегодня. Тогда это не воспринималось как унижение, а как просто норма, как скучная традиция, которую нужно, к сожалению, отбывать. Все были возбуждены предстоящей поездкой и поэтому терпеливо сносили дурацкие наставления, черт с ними, лишь бы никто не помешал добраться до Парижа. И вот в самом начале инструктажа знаменитый поэт Ярослав Смеляков, находившийся, видимо, по своему обыкновению, слегка подшофе, спросил с места: «А в “Юманите” нас поведут?» «Поведут, поведут», — заверил его инструктор. Но через минуту Смеляков спросил о том же... «Он рехнулся», — шепотом сказал Лева, автор детских пьес, Ивану Иванычу. Иван Иваныч засмеялся. «Смеляков в своем репертуаре, — сказал он, — лично я предпочитаю эротическое кино...» Они похихикали, при этом Иван Иваныч подумал, что действительно было бы интересно наконец увидеть это таинственное, запретное, предосудительное, эротическое, порнографическое сплетенье рук — сплетенье ног... искаженные страстью лица... «Я не сексуально озабоченный...» — шепнул Лева. «Я тоже», — прошептал Иван Иваныч. «Просто хочется в познавательных целях...» «Естественно, — откликнулся Иван Иваныч, — ну хотя бы глянуть в эти чертовы порнооткрытки...» В этот момент Смеляков снова выкрикнул: «А в “Юманите” нас поведут?!»

С паспортами была задержка. Всех обзвонили и попросили приехать на вокзал, где вручат паспорта перед отъездом. Они гудели у дверей вагона и нервничали, но появилась наконец переводчица и вручила их каждому, кроме несчастного Смелякова. «Вам отказали почему-то», — пробормотала она, пунцовая. На него страшно было смотреть. Хмельной, униженный, потерявший апломб, приученный за долгие годы лагерей к непререкаемому могуществу высших сил, он обреченно уходил прочь. Отъезд был испорчен. Кто-то уже поздно ночью попробовал пошутить в вагоне и крикнул: «А в “Юманите” нас поведут?..» — но его быстро утихомирили.

И вот он проживал в Париже!

Автобус, пробежав свой неправдоподобный маршрут, высадил их у Нотр-Дам, и они с благоговением погрузились в древние сыроватые каменные внутренности знаменитого храма и, маленькие и тщедушные, бродили, словно тени, вдыхая аромат воска, сдерживая шумные восклицания и пытаясь размышлять о возвышенном. Когда же их вынесло на площадь перед собором, они разбились на группки и шумно вдохнули парижского апрельского благоухания.

И тут Иван Иванович различил странную фигуру. Молодой человек, почему-то в кепке и с шарфом на шее, странно приплясывая, подбегал к прогуливающимся, и сложенные ладошки протягивал вперед, и что-то при этом торопливо говорил, и, распахнув на мгновение ладошки, что-то демонстрировал и тут же захлопывал снова, от него лениво отмахивались, но он подсакивал к другим, и все — к мужчинам, к мужчинам. Он предлагал какой-то товар, видимо запретный: так стремительно, по-воровски прыгал от группки к группке или выбирал задумчивого одиночку и снова распахивал и тут же захлопывал, оглядываясь с таинственным видом. Он был небрит, не слишком свеж, но изящен и стремителен, словно танцор. Он вдохновенно соблазнял праздную публику. Иван Иванович различал лица заглянувших наспех в его книгу, как взлетали брови и на губах застывала скабрзная ухмылка или, напротив, неприязнь и отвращение. Господи, подумал Иван Иванович, да здесь это же — то самое! Он даже вздрогнул от неожиданности и торопливо оглядел своих, зная, что в каждой туристской группе должен быть тайный соглядатай. Но свои разбрелись кто куда, и Иван Иванович понял, что это — шанс, и качнулся к соблазнителю. Тот тотчас же это заметил и легко подскочил к Ивану Ивановичу, распахнув свою сладкую книгу перед его глазами, и тут же захлопнул, снова распахнул и захлопнул снова, и опять распахнул, и снова... В этот момент Иван Иванович успел разглядеть обнаженное женское бедро! Сомнений не было. Затем он увидел приоткрытые сочные губы, обольстительную грудь и томно откинутую белую руку... Они быстро сладились. Набор открыток стоил двадцать франков! Иван Иванович, сгорая, сунул торговцу деньги, тот молниеносно передал свой теплый товар и побежал... И тогда Иван Иванович побежал в другую сторону.

Как он добрался до автобуса, как дотерпел до отеля, делая равнодушное лицо, — трудно передать. Пачка жгла ладонь. Все разговаривали, его не замечая. Перед обедом отправились по своим номерам, и Иван Иванович вспорхнул в свой, заперся на ключ, прислушался и выхватил из кармана подарок судьбы... И обомлел... И вскрикнул...

Перед ним, поблескивая тусклым второсортным глянцем, лежали убогие черно-белые снимки с полотен великих мастеров прошлого. Рубенс, Рембрандт, А. Ван Дейк и еще многие. Все женщины. Обнаженные. Богини, стыдливые и откровенные. Да, груди, бедра, влекущий взгляд, томно откинутая рука, и фавны, и фавны, как бы случайно прикрывающие срамные места, и неразличимые голоса, и на всем потеки плохо растворившегося закрепителя, так что было непонятно, в чем утопает Венера — то ли в кружевных простынях, то ли в соленой пене. И тут Иван Иванович с болью вспомнил себя самого на площади перед Нотр-Дам, и грязного наглого продавца, и всю сцену обольщения! Он увидел себя, тщедушного и вождедеющего, охваченного мелкой дрожью, с искаженным лицом трусливого плута... Господи, да зачем это было нужно прятать в ладошках товар в Париже, где все продается? В Париже?.. Уж не затем ли, чтобы возбудить московского идиота со слюнявыми губами и бегающим взглядом?.. Какой нехитрый и тонкий расчет! — подумал с горечью Иван Иванович.

Он разорвал фотографии и бросил их в корзину для мусора, и в это время постучал Лева, приглашая вместе спуститься к обеду.

За обедом Иван Иванович не удержался и поведал о своем сраме. Лева рассмеялся и сказал, что Ивана Ивановича красиво купили, ибо этого добра в Париже завались на каждом углу, и нет никакой надобности скрывать такой товар в ладошках... В поражении, думал Иван Иванович, есть своя прелесть, они не позволяют думать о себе высокопарно. С этой сенсацией в голове он вышел из столовой, прошел вестибюль, и тут к нему приблизился немолодой мужчина, почти старей, в черном ношеном плаще, с большими залысинами над худым, усталым лицом. Глаза у него были голубые, поблекшие, и в них царили недоумение и печаль.

— Вы ко мне? — спросил Иван Иванович.

— Так точно, — отчеканил гость, — Кирилл Померанцев. Мы очень рады вашему приезду...

Он стоял перед Иваном Ивановичем навытяжку.

— Кто «мы»? — спросил Иван Иванович, любезно улыбаясь, и страх и счастье перемешались в его душе.

— Мы — это парижские русские, — строго произнес Померанцев и заглянул в глаза собеседнику.

— Ах, вы от имени... русских в Париже? — забормотал Иван Иванович, он хотел сказать «эмигрантов», но сдержался, — от имени русских?..

— Так точно, — подтвердил Померанцев, — мы слушаем ваши песни и любим вас...

В тусклом освещении вестибюля было видно, как откровенно зарозовели его впалые щеки, печаль в глазах смягчилась, поубавилась. Иван Иванович был вне себя: в Париже слушают его песни!.. Померанцев стоял перед ним почти навытяжку. Он показался Ивану Ивановичу прекраснее всех до той поры встреченных людей. Этот прекрасный человек продолжал что-то говорить вполголоса, но Иван Иванович его не слышал. Кивал и улыбался.

— Мы подумали, — вдруг расслышал он откуда-то издалека, — вдруг у вас возникнет желание выступить у нас... Помещение мы, конечно, найдем... если вам, конечно, разрешат ваши...

— Как же это мои песни дошли до вас? — спросил Иван Иванович тихо.

— Ну, знаете, — объяснил Померанцев, — кто-то провез из Москвы пленки, кто-то переписал, ну как это вообще бывает... и так постепенно... и если бы вы согласились...

— Конечно, — сказал, задыхаясь, Иван Иванович, то есть он это почти выкрикнул, — а сколько же наберется людей?

— Ну, люди-то будут, — улыбнулся Померанцев, — круг достаточно широк, человек, я думаю, пятьдесят, а то и побольше... если, конечно, у вас не будет неприятностей...

Вот так они и сговорились. Тут-то все и началось. Иван Иванович теперь ходил по Парижу с чувством победителя. «Не обольщайся», — нашептывал он себе самому, но обольщение было сильнее его. Оно почти совсем подмяло, когда бы не возникла в воспаленном мозгу эта недавняя картина у Нотр-Дам и его фиаско. И он старался думать об этом и о том, как наколотся, и примерял к себе всякие уничижительные эпитеты...

Мало того, он решил, пока суд да дело, забежать мимоходом в порнокино, которых он видел множество на Питали, забежать в познавательных целях, конечно, как принято было говорить с хохотком меж своими. Это были кинотеатры с непрерываемым сеансом, и можно было сидеть хоть целый день. Ты входил в темный зал во время сеанса и так же в темноте покидал его... Однако Ивана Ивановича хватило минут на пятнадцать. На экране искусственно кричащая и стонущая парочка предавалась любовным утехам однообразно и скучно, словно по заранее определенному сценарию меняя позы, с идиотскими выражениями на плебейских лицах. Зал был пуст, если не считать с десятков неподвижных, затаившихся старичков. Насмотревшись, они по одному выскальзывали из темного зала, а какие-то похотливые новички бесшумно скользили к местам... А на экране меж тем происходило все то же. Обнаженный мужчина с лицом продавца сигарет вертел в руках послушную, давно

не молодую, неопрятную кухарку. Он переворачивал ее со спины на живот, усаживал, снова распластывал и мучил ее равнодушно и профессионально, и она пучила коровьи глаза по сценарию, а не от переизбытка страсти. Казалось, она выполняла не очень приятную работу... Сколько же платят? — подумал Иван Иванович и так с этим вопросом и покинул пустой зал. А рассказывали о закрученных сюжетах, о красотках, о секс-бомбах, о коварных изощренных соблазнительях и утонченных развратницах!..

День выступления приближался неотвратимо. Это должно было случиться в четверг, а в субботу туристская группа отправлялась обратно в Москву. «Слава богу, — думал Иван Иванович, — скоро домой!» Это в преддверии выступления нервы натянулись до предела, да и, кроме того, от жалких туристских девяноста франков не осталось ни сантима, а шляться по парижским улицам с пустым карманом — печальное занятие. А тут как-то в один из первых дней судьба свела с Леоном — профессором славистики. Это благодаря Анечке из Иванова, его жене, которая затащила мужа в отель познакомиться с русским поэтом из Москвы, и они пошли гулять по вечернему Парижу, болтая о том о сем. К ним присоединился Юлий — московский драматург. Леон прекрасно говорил по-русски. Он оказался французским коммунистом. Тут Иван Иванович, посмеиваясь, вспомнил свои юношеские восторги по поводу французских коммунистов: ах, Кашен! Ах, Торез! Ах, Дюкло!.. И как это увяло и померкло. И Аня посмеивалась над этим, а маленький полный рыхлый Леон недовольно выпячивал нижнюю губу и иронизировать был не склонен. «Ну, ну, — говорил он жене как бы в шутку, — пожалуйста, без глумливых усмешек...» Ивану Ивановичу он неудовольствия не выказывал. Оказалось, что он давно знает его стихи и песни, что Ивану Ивановичу было лестно и добавляло жара легкому головокружению. И в тот момент, когда это головокружение достигло заметного уровня, когда Иван Иванович подумал, что вот он идет по самому Парижу среди сияющих витрин и разноцветных неоновых реклам, в праздничном шуме автомобилей и толп, в компании парижан, которые знают о нем и говорят о нем даже с придыханием, в этот момент они вошли в узкую улицу Сен-Дени, на которой у освещенных подъездов маленьких отелей толпились настоящие гетеры, длинноногие, грудастые и полуобнаженные! И это были не жалкие, блеклые репродукции с картин великих мастеров, а живые, громкоголосые, горячие приставалки, демонстрирующие свои прелести направо и налево с деловым шиком и профессиональным обаянием.

— Ну вот, — сказал Леон, — это Париж. Нравится?

И тут в Иване Ивановиче пробудился этаким бывалый игрок, этаким намыленный ловкач, этаким московский ханжа, и он поджал губы и пренебрежительно вздернул плечи, хотя несколько замедлил движение, запоминая происходящее, и глазом косил как бы случайно, нехотя, по принуждению. Красный глаз посверкивал, отражая огни реклам и заманчивых подъездов предосудительных отелей. А у гетер тоже, как ни странно, глаза казались красными, и аромат духов, кофе и надежды распространялся в апрельском воздухе. «Кто же я? — подумал Иван Иванович. — Жалкое московское ничтожество, одуревшее от похоти, или нормальный мужчина, возбужденный женскими прелестями?» Ни похоти, ни страсти он, кстати, не испытывал.

— Что-то во всем этом от театра, — сказал рассудительный Юлий.

— Господи, — вздохнула Аня, — да вы бы взглянули на них днем! На их оштукатуренные лица с зеленым оттенком...

— Не ругай их, Аня, — усмехнулся Леон, — обыкновенные профессионалки, не более... Служба... — и спросил у Ивана Ивановича: — А как вы чувствуете?

— Я чувствую себя лицом, широко известным в узких парижских кругах, — рассмеялся Иван Иванович облегченно.

— Нет, — сказал Леон настойчиво, — я имею в виду этих баб...

— А-а, — гордо соврал Иван Иванович, — ничего интересного... я-то думал...

Юлий поддакнул. Леон понимающе осклабился.

В отеле перед сном Иван Иванович вспомнил о предстоящем вечере, и ему стало страшно. А утром, в довершение ко всему, позвонил Кирилл Померанцев и сказал, что приготовления к вечеру идут полным ходом, но число желающих на него попасть катастрофически выросло и будет не пятьдесят, а, наверное, поболее пятисот.

— Французы? — с надеждой спросил Иван Иванович.

— Да нет, — сказал Кирилл, — наш брат, русские... эмиграция... Французы этого не поймут.

Короче говоря, выступление намечалось на четверг. В субботу предстоял отъезд в Москву. Время летело стремительно. А где же будет выступление? В зале «Мютюалитэ». Это что такое «Мю-тю-а-ли-тэ»? Это же громадный зал, где проводятся всевозможные съезды и конференции! И я буду там выступать? Нет, нет, это будет не в большом зале, где тысячи мест, а в малом... А там мест восемьсот, наверное... тоже ничего себе, а?.. Господи, я буду выступать в Париже! В «Мютюалитэ»!.. В душе Ивана Ивановича вновь забушевало. Париж померк.

Эротические вчерашние вождения выглядели жалкими. Гетеры напоминали заурядных шлюх с Комсомольской площади. Да и вообще парижанки, глядящие только вперед и никогда на тебя... все они теряли от своего невнимания и равнодушия. Когда б они только знали!.. Да они в «Мютюалитэ» заглядывали ли?.. — думал Иван Иванович, вышагивая безвестной тенью по отшлифованным историей плитам парижских тротуаров.

Наконец накатило четверг. Леон вызвался быть переводчиком. Кирилл утверждал, что это лишнее: французов не будет.

— Это не совсем прилично, — сказал Леон, — все-таки это Франция... Даже если заскочат десять французов, нужен перевод.

Он был человеком обстоятельным и возражений не принимал. Иван Иванович соглашался со всеми, находясь в прострации.

Зал оказался громадным, больше, чем ожидался. Во всяком случае, последние ряды тонули в полумраке. Свободных мест не было. Как в Москве! — подумал Иван Иванович, всматриваясь из-за кулис в дальние пространства. Голова кружилась. Подташнивало. Кто-то тронул Ивана Ивановича за рукав. Милая женщина проговорила с акцентом, что на концерте присутствуют представители крупной парижской фирмы грамзаписи... Где?! Здесь, здесь, в зале... Они будут слушать на предмет издания пластинки... Моей?!.. Вашей, вашей... Так пусть они подойдут... Ну да, они подойдут, конечно, подойдут, после концерта, они будут слушать и решать... Ну, вы понимаете... — и она широко улыбнулась. Это его выбило из колеи.

— Вы могли бы сказать мне это после выступления, — прошептал он мрачно.

— Вы разве не хотите иметь диск? — удивилась она.

Тут Леон подтолкнул его, и они выкатились на сцену. Его очень тепло приветствовали. Леон топтался рядом. Затем он заговорил в микрофон по-французски. Зал притих. Приличия были соблюдены. Иван Иванович вспомнил, как незадолго до начала он спросил, что за публика в зале. «Бывшие белогвардейцы», — усмехнулся Лева. «Ну и, конечно, предатели родины в этой войне», — подражая официальной прессе, сыронизировал Юлий. В другой раз они бы похихикали, ибо теперь эта терминология воспринимается не всерьез, как еще недавно, а с горькой иронией, и не иначе.. Но тут в зале, в Париже, где явственно слышалась русская речь, она преобладала и долетало: «Добрый вечер, господа... господа, позвольте пройти...» — все это было уже не пустой фантазией, а реальностью... Бедный Иван Иванович! Разве он мог предполагать в своем детстве, когда играл во дворе в красных и белых, что спустя несколько десятков лет выйдет на сцену перед вчерашними капелевцами или врангелевцами?! Разве поверил бы в сорок втором на фронте, что будет петь под гитару! В Париже! Вчерашним власовцам, предателям, отщепенцам (как они еще именовались?). И вот они сидели перед ним, и старые, и молодые, и их жены и сестры, и дети, и он заметил на их лицах расположение. Человеческое племя, раскроенное кем-то на две ожесточенные половины, но тянущееся друг к другу, страдающее, помнящее обоюдное зло и переполненное неминуемой жаждой прощения.

В первом ряду сидел Кирилл. Остановившийся взгляд, впалые щеки. Он сидел, сцепив пальцы рук. И этот бывший гимназист, покинувший Россию с папой и мамой среди бегущих толп тогда, в неправдоподобные времена, умеющий после всего быть мягким, пишущий стихи, одинокий... Как он улыбался! Как внезапно, на мгновение, возникала эта улыбка на его лице... Уже старик, да, да. Жизнь коротка. Родина далеко. Ее искаженный лик отвратителен, и жалок, и возвышен, а Париж безучастен, холоден и терпелив...

Иван Иванович произносил название песни, затем Леон старательно переводил на французский. Гитара пыталась сопротивляться, но Иван Иванович до боли в пальцах сжимал ее непослушное тело... Постепенно все налаживалось и наладилось уже на второй или третьей песне. Принимали его сердечно. Некоторые названия вызывали аплодисменты: значит, знали, уже слышали!.. Скванность почти исчезла, хотя чего-то все-таки недоставало. «Песенка про черного кота», — объявил он очередную вещь. Зал зааплодировал. Леон перевел. Раздались смех, и свист, и негодующие выкрики. Леон был пунцов, ровно барышня. «Что случилось?» — спросил Иван Иванович. «Давай, давай, пой!..» — потребовал тот. Иван Иванович пожал плечами и растерянно улыбнулся. «Господин Робель перевел тенденциозно!» — крикнули из зала. «Не понимаю», — сказал Иван Иванович Леону. «Да пой же, пой!..» — зашипел профессор. Тут к эстраде подошел Кирилл и громко проговорил: «Господин Робель назвал эту песню песенкой о маленькой черной кошечке». Смех усилился. Леон сказал в микрофон: «Я ошибся. Приношу свои извинения...»

Дальше все пошло замечательно. Иван Иванович чувствовал, что он пришелся. Власть его распространялась на весь этот громадный зал. И тогда, когда ощущение этой власти, этого праздничного господства достигло предела, он вдруг различил себя самого там, в полумраке, над головами слушателей, расплывающиеся, колеблемые жарким их дыханием иллюзорные очертания, подобные миражу, — он маленький, тщедушный, с заметно поредевшим чубом, в помятых брюках и зеленом джемпере, с непослушной гитарой в руках, с вытаращенными глазами, переполненными мольбой о везении... Он машинально выпевал слова своих стихов, заглядывал в самые располагающие лица первых рядов, слышал аплодисменты, а униженный мираж все клубился и клубился перед ним...

«Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое отечество...» — пел он... и вдруг увидел, что некоторые плачут. «А что это они плачут?» — подумал он и сам в первую минуту даже решил, что это его исполнение столь трогательно и впечатляюще, что это он своим искусством вызывает у них слезы, но тут же, к счастью, представил себе их судьбы, и этот Арбат, который был и их отечеством, вечным и недосыгаемым по каким-то там не очень справедливым установлениям...

Когда все закончилось, и вокруг бушевали страсти, и ему пожимали руки и похлопывали по плечу, в этот момент возникли перед ним благосклонно улыбающиеся господа в сопровождении той самой переводчицы. Они были не против издать его диск... мы думаем, что это предприятие будет удачным... И если вы не возражаете... да, конечно, не возражаю, но... тогда завтра, в пятницу вечером... мы будем ждать вас... но в субботу мы уезжаем... нет, нет, в пятницу, завтра... Он посмотрел на Леона.

— Поедем, поедем, — сказал Леон, — я тебе помогу.

...Утром он пошел по Парижу. В голове шумел вчерашний зал. Он видел лица — их слезы и улыбки. Он весь был во власти этого вчерашнего успеха. Он шел по Парижу. Было полетному тепло и уютно. Никто его не знал. Никто не обращал на него внимания. Но это его нисколько не огорчало, напротив, — он шел по Парижу. Походка его была величественной. Вечером предстояло записать диск.

Уже был уложен к отъезду небольшой туристский чемодан. Уже предвиделся завтрашний отъезд из Парижа. Уже было сделано несколько сокрушенных вздохов из-за легкомысленно растрченных дней, хотя и был вчерашний концерт, да, один концерт... а все остальное? Но тут появился пунктуальный Леон, и они помчались в такси на фирму «Ле шан дю монд».

Они долго шли по каким-то длинным коридорам, по лестницам, мимо деловых бюро, заполненных улыбочивыми, стремительными и равнодушными мадемуазелями, и, наконец, добрались до вожделенной студии. Иван Иванович был в полусне. Сквозь легкий туман ему виделась записывающая аппаратура, и какие-то люди медленно перемещались, подобно аквариумным существам. Леон куда-то исчез, затем снова возник. Он сказал Ивану Ивановичу многозначительным шепотом:

— Хозяин предлагает тебе две с половиной тысячи франков за двадцать песенок... Ты меня слышишь?

— Какие франки?! — задохнулся Иван Иванович.

— Обыкновенные, — сказал Леон, — а ты что, о деньгах не думал?..

— Я не понимаю... — заторопился Иван Иванович, — я о деньгах не думал... Я не думал... Это мне деньги?.. Я получаю... это что, гонорар?

— Да, да, — сказал Леон, поморщившись, — да, да.

Иван Иванович очнулся. Он вспомнил свои давно потраченные жалкие девяносто...

— И мне будут платить?! — чуть не закричал он.

— Этого мало, требуй больше, — сквозь зубы приказал Леон.

— Нет, нет! — воскликнул Иван Иванович. — Этого хватит!.. зачем... не надо...

— Ну, хорошо, — сказал Леон, — я сам ему скажу, — и резко отправился договариваться.

Лоб у Ивана Ивановича был в холодном поту.

Это теперь, по прошествии четверти века, может показаться, что две с половиной тысячи франков — ничтожная сумма, из-за которой не стоило так всплескивать ручками и покрываться потом... Но времена были другие, и Иван Иванович еще не научился воспринимать свои песни как работу, а больше как душевный порыв, как наслаждение, уж какие тут деньги!.. Да, по тем временам и эти деньги выглядели суммой, ну, для него, по его карману... А запись диска в великом городе великих шансонье — это же само по себе большая честь, за которую, по справедливости, самому нужно приплачивать...

Воротился Леон и сказал:

— Он дает три тысячи...

— О! — только и смог воскликнуть Иван Иванович.

— Капиталисты всегда платят за труд, — то ли в шутку, то ли всерьез процедил французский коммунист, — ну давай, бери гитару и работай, давай, давай...

Как выяснилось, деньги быстренько приводят в чувство, прибавляют хитрости, расчета и всяких оправдательных мотивов. И Иван Иванович, как ни был возбужден и одурманен, все-таки сообразил, и мгновенно, что везти в Москву эти деньги невозможно, надо потратить их все... Но где их тратить, когда поздний вечер пятницы, а завтра утром отъезд? Запинаясь и морща лоб, он поделился с Леоном. Он нервно размахивал ручками, пританцовывал, но невозмутимый профессор его утешил. Оказалось, что в благословенном Париже имеются какие-то громадные универсальные магазины, торгующие допоздна!

И тогда Иван Иванович схватил гитару, кое-как настроил ее. И все затихло, и он запел. Быстро-быстро. Одну песню за другой. Почти без пауз. Без единой ошибки. Видел перед собой стенные часы и неумолимую стрелку. Он рвал струны. Он не стеснялся окружающих. Его записывал Париж! Там, в Москве, он не помышлял о диске. Там его подняли бы на смех, заикнись он об этом, или вежливо бы унизили... Какие времена... Нет пророка... хорошо, что магазины торгуют до полуночи... все для человека...

Последний аккорд был неистов. Глотка пересохла. Он сделал свое дело и уже не удивился, когда ему вручили пухлый конверт и попросили расписаться в ведомости.

Как они вывалились из студии, как поймали такси — теперь уже не передать. Они вбежали в «Галери Лафайет», в ярко освещенные его ароматные внутренности, где почти не было продавцов, да и публики-то, слонялись отдельные ленивые фигуры. Лихорадка не покидала Ивана Ивановича, напротив, даже усилилась. Леон шел следом и деликатно помалкивал. Иван

Иваныч первым делом углядел большую сумку, он взял ее и принялся набивать ее всем, что попадалось под руку. А под руку попадались предметы не то чтобы необычные, но все по-западному изысканные, бросающиеся в глаза, просящиеся в руки. И вот он бросил в сумку красивую зубную щетку и еще одну, затем — щетку для чистки одежды и щетку сметать со стола. Затем он уложил медный колокольчик с длинной ручкой, медово позванивающий... «Зачем это все?» — мелькнула мысль, но тут же погасла. Затем ему досталась пара восхитительных оловянных солдатиков. «Как стыдно!» — подумал он. Несколько пар нейлоновых носков и пакет с женскими чулками... Леон едва поспевал за ним... Ремешок для часов, несколько пластмассовых зажигалок всех цветов радуги, и одна прозрачная, и там в золотом бензине плавала восхитительная розовая обнаженная нимфа, непристойно улыбающаяся... Трусы, майки, альбом для фотографий, пластмассовый мухобойник, никелированный кофейничек, пачку фигурного мыла... «Как стыдно!» — подумал он... Затем — платье темно-зеленое с бледно-зелеными цветами для своей молодой жены, шесть чайных ложек из нержавеющей стали, ножницы, набор парижских видов, пачку синих почтовых конвертов, баночку с консервированными мидиями...

— Скоро закрывается, — спокойно предупредил Леон.

И тут совершенно обезумевший Иван Иваныч разглядел магнитофон! Маленький, самый современный, компактный, чуть побольше ладони.

— Ой! — задохнулся он. — Невероятно!.. Это то самое... вот это...

— А нужен ли он? — поинтересовался профессор.

— Да ты что! — крикнул Иван Иваныч. — У нас же этого нет!.. Это такая вещь!..

В этом отделе был продавец. Он понимающе кивнул и принялся быстро орудовать, готовя магнитофон к продаже. Вставил батарейки, какую-то кассету, нажал кнопку — послышалась музыка, громче, тише. При этом он что-то говорил, показывал. Леон кивал. Наконец драгоценная штучка перешла к Ивану Иванычу. Он ее, естественно, в сумку укладывать не стал, а понес в руке, прижимая к груди. Они посчитали оставшиеся деньги: что-то около ста франков. Ивану Иванычу показалось, что Леон посматривает на него с насмешливым недоумением. «Как стыдно!» — подумал он и побежал по проходу, хватая что ни попадя, и стремительно растратил все до основания. Сумка была забита доверху. Он умудрился втиснуть в нее еще пакетик с жареными фисташками, несколько шариковых ручек, машинку для скрепления бумаг, связку обувных шнурков почему-то...

И вот они вырвались из магазина и шумно вдохнули апрельского воздуха, и тут случилось самое ужасное. Иван Иваныч как-то неловко развернулся и выпустил из рук драгоценный аппарат. Магнитофон упал на асфальт! Звук был мягкий, благодаря кожаному футляру.

— О-о-о! — тоненько вскрикнул Иван Иваныч и прислонился к дверному косяку. Профессор ловко поднял магнитофон. Попробовал включить — магнитофон не действовал. Иван Иваныч стонал в отчаянии.

— Ну ничего, — сказал Леон, — не отчаивайся. Что-нибудь придумаем. Ничего... Черт с ним!.. Ты знаешь, мы с женой скоро приедем в Москву и привезем тебе такой же... Идем...

— Какой я болван! — простонал Иван Иваныч. — Какое жалкое ничтожество!.. — Но внезапно его искаженный лик преобразился. Глаза сверкнули последней надеждой. Профессор смотрел на него озадаченно.

— Пойдем к этому продавцу, — шепнул Иван Иваныч, — скажем, что магнитофон почему-то, а?.. Ты понимаешь?.. О, почему-то перестал... ну пойдем, а?..

— Ты думаешь, это хорошо? — покраснел профессор.

— Ну а если мы пойдем, он поверит? — засуетился Иван Иваныч. — Ну вот я нажимаю, а он бездействует... Ведь так? Он что, не поверит?..

— Он-то поверит, — кисло улыбнулся Леон, — может быть, даже принесет извинения... но ведь это...

— Я так хотел иметь этот магнитофон! — прохрипел Иван Иваныч.

— Ну, хочешь — вернемся, — вновь покраснел профессор.

Они вернулись к продавцу, и Леон что-то ему объяснил. Продавец пощелкал кнопками магнитофона, пожал плечами и удалился.

— Что ты сказал? — спросил Иван Иванович с трудом.

— Я сказал, что магнитофон почему-то перестал работать, — выдавил Леон.

— А он?

— Он очень извинялся. Сейчас принесет новый... Это обман, ты не находишь?

— А маленькая черная кошечка — это разве не обман? — с отчаянной укоризной спросил Иван Иванович. — А, Леон?..

— Нет, — сказал Леон, — я действовал в духе вашей прессы, это тактика...

Уже в такси Иван Иванович, шумно вздохнув, сказал:

— В Москве никогда бы не обменяли!..

Леон смолчал.

Было уже далеко за полночь, когда они ввалились в вестибюль отеля. Там с кресел сорвался незнакомый мужчина и подскочил к Ивану Ивановичу.

— А я вас жду, жду! — радостно воскликнул он, протягивая руку и отрекомендовавшись сотрудником советского посольства Семеновым. — Понимаете, дело в том, что парижское издательство «Жульяр» издало вашу книжку и издатель оплачивает ваше пребывание в Париже еще на две недели. — Он увидел вдруг, что его собеседник потрясен известием, рассмеялся и добавил: — Все формальности мы совершим завтра, и завтра же вам нужно побывать у него... Глядишь, и гонорар перепадет... — и подмигнул.

Ночью Иван Иванович не мог заснуть. Пробовал, но душили кошмары. Он встал, вывалил на пол все покупки. Такого количества новенького хлама, собранного вместе, ему еще не приходилось видеть.

— Идиот! — воскликнул он, и голос его прогреготал в ночной тишине. Да, да, это были его призрачное благородство, мнимая утонченность, шаткий успех, слезы на лицах наивных эмигрантов рядом с этим пластмассовым хламом и голыми бабами кисти великих мастеров, и все его задыхания и выпученные глаза, и снящиеся по ночам неправдоподобные груди и бедра парижских гетер!.. И когда его многозначительно спрашивали, не кажется ли, мол, ему, что сегодня вырисовываются симптомы гибели культуры, ну не гибели, а явного увядания, обнищания, что, мол, иные страсти руководят сегодняшним человеком, — он старательно морщил лоб, делая вид, что всматривается в прошлое, в будущее, но видел зыбкие очертания борделей... Что это было? И теперь эта книга! Этот счастливый знак принадлежности к избранной касте... И он подумал в отчаянии, что все это похоже на обман, что он обманщик, мистификатор!

Туристская группа укатила в Москву, а Иван Иванович остался наслаждаться дарами милостивой фортуны. Она воистину оказалась милостива, что с нею случается не часто. Наш герой переехал в другой отель, теперь уже — в переулочек возле Елисейских полей, в отель почти такого же уровня, как и предыдущий, почти, потому что он всегда был только отелем, и ничем иным, и в маленьком номере все-таки не было откровенного биде, а кровать была не столь широка и многозначительна.

Иван Иванович был предоставлен самому себе в течение первой половины дня, а к двум часам за ним заехал уже знакомый посольский сотрудник Семенов, и они отправились в издательство. Иван Иванович, не буду скрывать, очень волновался, представляя, как он возьмет в руки свою книжку на французском языке, что само по себе праздник, а уж гонорар представлялся как сладкое и чрезмерное излишество!

Перед тем как выйти из номера, он еще раз с ужасом и стыдом оглядел злополучную сумку, набитую до отказа хламом, и поклялся не поддаваться больше разнузданной провинциальной жадности. И тут же по пути уже в издательство вспомнил сочное армянское слово «чтес», в котором кипело откровенное презрение к человеку, никогда ничего не видевшему и потому суетному, суетливому, со слюной вожделения на губах. Чтес!..

Директор издательства был мил, но сдержан. Вид его не располагал к длительной беседе, что Ивана Ивановича, не поднаторевшего в подобных встречах, крайне устраивало. Он уч-

тиво ответил на несколько пустых, равнодушных вопросов. Семенов старательно переводил. Покурили. Покивали друг другу. Поулыбались. Затем Ивану Иванычу был вручен конверт, который хотелось выхватить из вальяжных рук директора, но выглядеть чтесом не хотелось, и конверт лежал перед носом Ивана Иваныча до самого ухода. Иван Иваныч дал согласие участвовать в книжной ярмарке и торговать своей книгой и даже раздавать автографы покупателям. Затем ему с той же деловитостью, что и конверт с деньгами, вручили наконец, экземпляр его книги. Было от чего сойти с ума! В Москве эту маленькую военную повесть не издавали. Она была запрещена, раскритикована за пацифизм и антигероизм, а в Париже вышла! Она была в твердом переплете. Рука искусного художника прошла по нему. Имя автора — его имя! — было набрано непривычным латинским шрифтом и выглядело торжественно и неповторимо. Париж постепенно превращался в щедрого благодетеля. О, когда бы знать, что ждет впереди и что может нафантазировать капризное провидение! Впрочем, оно тут же у входа в издательство продемонстрировало свое насмешливое бессердечие. Выходя из дверей, Иван Иваныч столкнулся с ленинградским писателем Виктором. Они были знакомы давно и обрадовались друг другу.

— Тебя тоже пригласили? — спросил Иван Иваныч.

— Пригласили, старик, — улыбнулся Виктор. — Книжка у меня, понимаешь...

— У меня вот тоже, — сказал Иван Иваныч и показал дар судьбы.

Виктор повертел книгу и спросил настороженно:

— Деньги-то хоть дали?..

— А как же, — сказал Иван Иваныч.

— Ну, я пойду, — заторопился Виктор и шагнул в подъезд.

Иван Иваныч решил подождать приятеля. Они топтались у подъезда вместе с Семеновым, но Виктор задерживался недолго. Он вылетел из подъезда стремительно. По лицу распалзлось недоумение. В руках было что-то большое, квадратное, завернутое в бумагу.

— Ну что это такое, понимаешь! — крикнул он. — На хрена мне это. А денег, понимаешь, почему-то не предложил!..

— А что это? — спросил Иван Иваныч.

— Он торжественно всучил мне вот это... на хрена она мне!..

Он развернул бумагу. И взору предстала написанная маслом на картоне копия обложки, только увеличенная, обложки его книги, которую он держал в другой руке.

— Эскиз обложки, понимаешь!.. Что мне с ним делать-то?.. Наговорили комплиментов, наулыбались... — Вдруг он расхохотался. — А может, унижение полезно, а? Как ты думаешь, старик?..

— Красивая картина, — сказал ободряюще Иван Иваныч, — и рамка хорошая.

Виктор заторопился по своим делам, прислонил картину к стене дома, махнул рукой и пошел по парижской мостовой.

— Вот суки, — сказал Семенов, — что хотят, то и делают! У нас, например, писателя уважают...

Казалось, фортуна совершила все, пытаясь хоть как-то вознаградить за унижения первых дней. Она продемонстрировала Ивану Иванычу признательность слушателей в «Мютюа-литэ», надежду на граммофонную пластинку, которая выйдет не где-нибудь — в Париже! Швырнула ему деньги, вручила его книгу на французском языке... Но Иван Иваныч, как всякий уже стреляный воробей, подозревал, что фортуна может и выдохнуться или опомниться, пожалев о чрезмерной щедрости, и вдруг напакостить: безденежье к деньгам, но тогда — сытость к голоду, не так ли? Будь начеку, счастливчик, — счастье призрачно и ненадежно... Но эти предостережения, эти сентенции я нашептываю сейчас, спустя почти что тридцать лет, а тогда Иван Иваныч хоть и подозревал, что ниточка тонка, но уж так закружился, что остановиться не мог... Тут-то все и налетело.

Книжная ярмарка, к удивлению, очень напоминала обычный базар: на большом участке разместились длинные деревянные прилавки под деревянными же тентами, за прилавками

стояли писатели, перед ними возвышались пачки книг. Возле некоторых уже толпилась публика, некоторые же пребывали в гордом одиночестве. Ивану Иванычу выдали порядочную стопку его книг, и он замер в ожидании французских покупателей. Справа от него торговля шла бойко. Счастливый автор раздавал автографы и улыбки, и книги его таяли. Это, как объяснил ему Семенов, был известный и очень популярный молодой философ. Слева своими книгами торговал пожилой толстячок с большим печальным носом. У него ничего не покупали. Оказалось, что это Жак Дюкло — один из коммунистических вождей Франции! Он торговал своими мемуарами. Иван Иваныч даже вздрогнул, представив себе, что вот так же рядом с ним стоял бы Суслов или, скажем, Ворошилов... Невероятно!

К обеду ни одной своей книжки Ивану Иванычу продать не удалось, но и у Дюкло не купили тоже ни одной, и это утешало. Впрочем, Иван Иваныч и не рассчитывал на успех: французы его не знали, пресса молчала. Да для него, если уж говорить честно, книжка эта не была явлением западным, зато он знал, что на родине ее издание в Париже может произвести впечатление. Какой многозначительный документ! Когда, расправив свои серебряные крылышки, она возникнет в родимых пространствах, об авторе будут говорить с заметным почтением.

Время близилось к обеду. Вообще было скучно. Слышалась тихая музыка и одиночные непонятные восклицания. Публика была уныла. Мимо прилавка медленно проплывали некрасивые парижанки в затрапезных одеждах. Откуда-то вынырнул Семенов и, улыбаясь, купил одну книжку и подставил ее Ивану Иванычу для автографа. Одна была продана! А у Дюкло по-прежнему ни одной!

Вечером в отеле к нему подошел незнакомец и на чистом русском языке сказал:

— Меня зовут Серж, Сережа. У меня к вам поручение. В Париже есть известный грузинский ресторанчик. Его владельцы — два прелестных грузинских старика, два брата-эмигранта. Они просили меня пригласить вас к ним завтра пообедать.

Иван Иваныч тотчас согласился. Вообще надо сказать, что некоторый успех, как ни странно, не придавал ему кичливости или апломба, а, напротив, сделал покладистей и щедрее. По лицу Сержа было видно, что он ожидал от Ивана Иваныча ну если не высокомерия и надменности, то уж сдержанности и некоторого величия — это уж точно. А тут все получилось так по-житейски просто, так легко. И они расстались довольные друг другом.

Конечно, если бы Иван Иваныч был в курсе капризов провидения, он бы сдерживал свои страсти, но неуспех на книжной ярмарке пока не послужил предостережением, не погасил его пыла. Уж эти мне легкомысленные удачники!

...Обед был прекрасен. Хозяева — два родных брата, два высоких, грузноватых, широкоплечих грузина с добрыми смеющимися глазами. Одному было семьдесят лет, другому — семьдесят пять, но в их крепких краснощеких лицах проглядывала вечность. Они не очень-то смыслили в литературе, да еще в русской, но слухи о некотором успехе в «Мютюалитэ» дошли и до них, и они рады были за своего земляка, за Отара Отарыча, ибо он на самом-то деле был Отаром Отарычем, как я уже упоминал, а Иваном Иванычем себя лишь чувствовал благодаря жизненным обстоятельствам.

В маленьком уютном ресторане собрались парижские грузины. Три поколения. Старики хорошо говорили по-русски, а молодежь русского уже не знала. Блюда были грузинские, и вино — тоже! И после первых тостов кто-то запел, и все подхватили, и показалось, что за окнами — не Париж, а Тбилиси. Это была знакомая, тягучая, гордая и печальная песня, и Ивану Иванычу подступило к горлу. Он слушал и думал об их судьбах, о том, как они, выброшенные однажды из маленькой своей страны, не растворились до конца в мощном, голосистом, холодноватом французском море.

Слева от Ивана Иваныча сидел немолодой уже, красивый, седой, в сером с иголочки костюме известный парижский доктор Хомерики. Они перебрасывались в перерывах между тостами милыми, ничего не значащими фразами, как вдруг доктор Хомерики сказал многозначительным шепотом:

— А я не так давно побывал в Грузии...

Иван Иванович поперхнулся от неожиданности: в те годы сыну меньшевика дороги на родину были закрыты, и сообщение доктора Хомерики прозвучало неправдоподобно и фантастично. Доктор рассмеялся, увидев растерянное лицо дорогого гостя, и коротко, без излишних деталей поведал свою головокружительную историю.

— Для грузина жизнь вне родины — наказание. Вообще жизнь вне родины. Но когда навеки — это уже трагедия, генацвале, хоть пулю в лоб! Когда вождь всех народов покинул нас наконец, я понял, что забрезжил маленький, дохлый, почти невероятный шанс. Это меня так распалило, что превращало в физическую боль. Все болело. По ночам я кричал от боли и тоски. Казалось бы — ну что бесноваться, сходить с ума? Живу в прекрасной стране, имею профессию, прошел с этой страной войну, висел на волоске... Ну что тебе воспоминания детства? Так ведь если бы воспоминания! А тут кровь, она кипит, генацвале... В конце пятидесятых я не выдержал. Меня отговаривали все — он обвел рукой присутствующих, — но я взял небольшой ранец, набил его сувенирчиками и полетел в Турцию. Там добрался до Арбагана. Вдруг мне говорят, что Арбаган стоит на Куре! Я заплакал, ей-богу. На осле добрался до Пософа. За Пософом уже виднелись горы Грузии... Нашлись добрые люди. Несколько дней примеривались и, наконец, меня тайком переправили через границу... Представляете себе?..

— А где же были наши славные пограничники? — шепотом спросил Иван Иванович.

— Бог миловал, — очень серьезно ответил доктор. — Мне повезло, неслыханно повезло. Когда подо мной вздохнула Картли, я был в прострации, я подумал: пусть теперь хватают... Но бог миловал. Я шел пешком до Ахалцихе, затем поездом — до Хашури, оттуда — в Зестафони. Я хорошо помнил этот город, покинутый в отрочестве, я знал его наизусть. И ходил возле дома моей тети, пока не спустилась ночь. Ночью я постучал в окно. Ну, что там было, не буду рассказывать!.. Фортуна оказалась милостива — я это оценил. Две недели прожил я в Зестафони. Я был как натянутая струна. Все мои родственники — тоже.

Пришло, наконец, время собираться. О прощальных слезах тоже не буду говорить. И тем же путем отправился обратно. И абсолютно безукоризненно. Уже в самолете над Истамбулом вдруг понял, что я совершил. Знаете, генацвале, как страшно стало!..

— А кто-нибудь, кроме вас, пытался еще?.. — спросил Иван Иванович.

— Э-э-э-э-э, — закрутил головой доктор Хомерики, — что вы, что вы!..

Звучали песни. Обед завершился. В конце зазвучала лезгинка. Танцевала молодежь. Надо было посмотреть, как двигались длинноногие парижские красотки!

Все милостиво кивали Ивану Ивановичу, выражая свое уважение. Иван Иванович долго и растроганно благодарил гостеприимных хозяев.

Затем он направился к выходу, где на улице уже ждал его милый доктор Хомерики, предложивший довезти его до отеля. В этот момент у самого порога его остановил худощавый старик небольшого роста, в отличной черной тройке, с сиреневой бабочкой.

— Простите, пожалуйста, — взволнованно сказал он, — а знаете ли вы, что я учился в кутаисской гимназии вместе с вашим отцом?..

— Что?! — крикнул Иван Иванович, пораженный известием. — Не может быть!.. Что ж вы раньше-то!.. Какая радость!..

— Да, — сказал старик и скорбно покачал головой, — мы даже сидели с ним рядом, за одной партой... Он был красивый и очень как-то утончен, хотя был из простой семьи, знаете...

— И вы дружили? — спросил Иван Иванович, и неясная боль задела его.

— О, естественно, — сказал старик, — мы сидели рядом и делились всем. — Он помолчал, переминаясь с ноги на ногу, а потом сказал тихо, но твердо: — Потом, правда, он выгнал меня из Грузии...

Вот когда фортуна решила нанести свой коварный удар. Именно здесь, на пороге. И Ивану Ивановичу показалось, что все гости поворотились в его сторону, но это лишь показалось.

— Да вы не расстраивайтесь, — сказал старик, — это же было так давно... я все понимаю...

— В тридцать седьмом отца расстреляли, — выдавил из себя Иван Иванович обреченно.

— Да я знаю, знаю, — заспешил старик, — я все знаю... какие могут быть счеты? — и добавил, улыбнувшись: — А может быть, он выгнал меня из Грузии, чтобы сохранить мне жизнь? А?.. Все может быть, не правда ли?..

— Простите, простите, — проговорил Иван Иванович чужим голосом и шагнул на улицу. Там, возле роскошного белого «кадиллака», прохаживался доктор Хомерики.

Последующие дни были отравлены этим разговором. Красоты Парижа померкли. Вдохновенная победа его отца в далеком двадцать первом году предстала жестокой несправедливостью. Иван Иванович вообразил себе потийский причал, суетливую истерику бегущих толп, теряющих привычное достоинство, а где-то, уже недалеко, у черты города, перевозбужденные дети фазтонщиков, плотников, прачек, ослепшие от своего превосходства, от примитивной идеи, легко усвояемой, от невежества, ставшего путеводной звездой... Кто я? — думал Иван Иванович, в прострации бродя по парижским мостовым, перешагивая через голубоглазых, рыжих, добродушных спаниелей, разлегшихся на тротуарах, кто я? Неужели заурядное ничтожество, расплачивающееся за давние грехи своих предков, веривших, что созидают счастливое будущее, и не понимавших, что созидают возмездие себе самим и своим самонадеянным и кичливым потомкам? Фортуна, думал Иван Иванович, все-таки расплатилась с ними с крайней жестокостью, а с нами, со мной — с помощью мелких пакостей. И нечего изображать из себя бог знает кого, думал он. Обыкновенная банальная жертва на тонких ножках, униженно хватающая жалкие гонорарчики и посмевавшая вообразить себя заслуженным удачником. И ему захотелось с облаков, среди которых он летал, спуститься на затененное морское дно. И ему захотелось думать о себе не столь возвышенно, как еще совсем недавно... Так он пытался спастись от отравы, успевшей раствориться в крови. Яд был жгуч. Кружилась голова.

Он открылся при встрече Кириллу Померанцеву, тот вздернул брови и сказал дрогнувшим голосом:

— Ах, бросьте, бросьте это все, не надо... все прошло, все на другом берегу, в иных лесах, среди чужих берез... — Он скорбно качал головой, и, когда проводил тонкими пальцами по впалым щекам, проступало что-то печальное, многозначительное. — Ах, не надо, не надо об этом. Это все не стоит одного мига нашего озарения, нашего понимания друг друга... Скоро ведь вы отправитесь домой, да? То есть уже завтра? Ах, завтра!.. Как все быстротечно!.. Был здесь Твардовский, и мы так же сидели, и он был пасмурен, хотя ну совершенно как стеклышко, но в такой тоске... А вы вот завтра... А вам еще нужно домой какие-то гостинцы, ведь правда? — уходя сказал он. — А о тех временах не надо, не надо, не рвите сердце... Всем досталось что полагалось... Не грустите, не доводите себя до отчаяния...

Накануне отъезда Иван Иванович решил не суетиться, не растрачиваться по пустякам. Покупки можно было совершить завтра утром. Полторы тысячи франков заметно оттягивали карман, и это маленькое благополучие позволило быть ленивым, независимым, легкомысленным и добрым. И вот наступил последний парижский вечер. Почему-то пошел дождь. Иван Иванович не почувствовал в этом ничего зловещего. И захотелось идти. По Парижу. Без цели. Молча. Он надел свой старый плащ, вооружился коротким складным зонтиком с удобной крючкообразной рукояткой. И вышел. Ноги сами понесли его куда-то, в сумерки, под дождичек, в говорливом потоке. Приятно было чувствовать себя обыкновенным парижанином. Он купил у уличного торговца немного жареных каштанов и понес в руке бумажный пакетик торжественно, словно фонарь. Все вокруг было знакомо и уже привычно. На порогах вечерних клубов толклись зазывалы. Они хватили за руки гуляющих туристов, но без наглости, а по-приятельски и соблазняли их выставленными в витринах фотографиями грудастых красоток. Ивана Ивановича они не замечали: видимо, принимали его за парижанина, и это было приятно.

Внезапно дождь усилился, и Иван Иванович решил переждать его под первой попавшейся крышей, ну хотя бы в кино... И тут же перед ним возник ярко освещенный вход в кинотеатр, и

по каким-то уже знакомым признакам он догадался, что здесь демонстрируют порнофильмы. Сначала он вспомнил, как однажды исказилось лицо Кирилла и он сказал, брезгливо поморщившись: «Фи, да это же для самых низкопробных туристов! А уж вам-то!..» Он вспомнил это, но затем встрепенулся и подумал, что, в конце концов, не помешает еще раз соприкоснуться с этим искусством, чтобы уж окончательно закрыть тему... в познавательных целях... И рассмеялся про себя. Тем более, подумал он, вспоминая свое первое посещение, тот кино-театр был какой-то заурядный и, видимо, третьесортный, а этот, судя по всему, не дешетка, и репертуар, наверное, будет посовременнее. Он размышлял обо всем этом, разгораясь и не замечая присутствия какой-то мистической силы, замаскированной под вечерние городские краски, легко растворяющиеся в огнях рекламы и в дожде. И он, конечно, не замечал, как эта сила подталкивала его под локоть, обжигала ему пятки и посмеивалась за его спиной.

Внешне он был спокоен. Ленивым жестом извлек из кармана купюру и протянул ее в окошечко кассы. Билет стоил почему-то слишком дорого. Он подумал, что на вечерние сеансы цена, наверное, повышается. И это было справедливо. И уже как завсегдатай он распахнул дверь и привычно шагнул в зал, но это был не зал. Это был довольно тесный вестибюль, и молодой человек в черном костюме и с бабочкой приветливо ему поклонился и сказал: «Бон суар, месье!» — и указал ему аккуратной ладонью на винтообразную лестницу, уводящую на второй этаж. И этот вестибюль вместо кинозала, и эта лестница озадачили Ивана Ивановича. «А туда ли я попал?» — подумал он. Он стоял перед этой лестницей с учтивой улыбкой на московском лице, в старом своем плащике, со сложенным зонтиком, висящим на сгибе левой руки, и с пакетиком жареных каштанов — в правой. И тут молодой человек воскликнул что-то задорное, и Иван Иванович увидел, что по винтообразной лестнице медленно, словно с облаков, торжественно и неумолимо сходит высокая длинноногая шатенка и улыбается ему, как старому другу, и что-то говорит, говорит по-французски, но, видя его недоумевающее лицо, по-английски, по-испански, но все напрасно, и она смеется так по-доброму, так по-вечернему. «А туда ли я попал?» — снова подумал Иван Иванович, но уже с тревогой. Он уже подумал, что надо бежать прочь, но не посмел — гордость не позволила, да и любопытство было велико: шутка ли — такая ситуация в самом Париже! Да и красотка, сошедшая с небес, была восхитительна. Несмотря на тревогу, он все же рассмотрел ее лицо, и оно его пленило, особенно глаза: большие, черные, глубокие, и губы — влажноватые, пухлые и слегка насмешливые. Она не чинясь взяла его под руку и повела вверх. По пути она все время с ним говорила, о чем-то расспрашивала. «Же не ком-пран па...» — повторял он затверженное, но она понимающе смеялась и продолжала говорить, и по ее интонации он даже догадывался, о чем она говорит: «Тебе здесь нравится?» «Ну конечно, еще бы...» — отвечал он одними глазами. «Ты любишь такие места, да?..» — «Же не компран па...» — «Ну, в общем, это не столь важно...»

Несмотря на ее расположение, он очень нервничал: он не понимал, куда они идут. И вот они поднялись, и, почти теряя сознание от страха, Иван Иванович увидел довольно большое помещение, уставленное столиками и креслами, и впереди, у стены, маленькое возвышение типа эстрады. Обыкновенный, совершенно пустой ресторанный зал, и ничего особенного. И полумрак. И тишина.

Его спутницу звали Надин. Как она была хороша! Иван Иванович, конечно, не обольщался относительно ее располагающей улыбки. Он даже заметил некоторую ее отстраненность, что ли, но даже это не мешало Надин быть прекрасной.

Она ловко подвела его к столику у самой эстрады и предложила сесть, а сама уселась рядом, и от нее исходило стремительное тепло. Он положил на столик кулек с каштанами и пачку своих сигарет «Прима», и она тотчас же, смеясь, полакомилась каштаном и закурила его сигарету и, затянувшись, поморщилась и спросила, тараща глаза: «Марихуана?» Он успокоил ее как мог и закурил сам. И тут из полумрака выскользнули две руки, и метнули на столик два бокала, и поставили блестящий металлический бочонок, в котором в осколках льда возвышалась потная бутылка шампанского. Те же руки мгновенно откупили бутылку, и бокалы наполнились. «Месье», — многозначительно сказала Надин, приблизив к нему свой

бокал. «Мадам», — легко и просто сказал он, и они чокнулись. Он жадно опорожнил свой бокал, а она лишь пригубила. И тут же из темноты таинственная рука ловко опорожнила бутылку и водрузила на столик новый бочонок с новой бутылкой. «Месье...» — «Мадам...» Он снова выпил до конца, а она лишь пригубила. Он коснулся ее руки. Она тихо и дружелюбно рассмеялась...

Ну что же тут особенного? Полночь. Шампанское. Женщина. Полутьма... Голова кружилась. «Надо бежать!..» — подумал Иван Иванович, но сил не было.

Эстрада озарилась легким светом. С потолка зазвучала томная музыка. Две неведомые руки выставили на столик новый бочонок, и перед Иваном Ивановичем забелел листок бумаги. Он заглянул в него и понял, что принесли счет. Почти восемьсот франков! Дрожащей рукой он отсчитал деньги и сунул в таинственные руки, и тихое ускользящее «мерси» вспыхнуло возле уха. «Месье», — сказала Надин незнакомым голосом. Он повернулся к ней. Но это была не Надин, совсем другая, еще более прекрасная, но уже блондинка. Она тянула к нему свой бокал и загадочно улыбалась. «А где Надин?» — спросил он с капризным недоумением. «Меня зовут Софи», — пояснила незнакомка. «Мадам!» — произнес он с хмельным вдохновением. Однако тревога усиливалась — вот что было ужасно.

Музыка грянула громче. И на эстраде возникла женщина. Она затанцевала в такт музыке и сбросила с себя голубой прозрачный жакет. Публики в зале не было, а она уже работала. Ей был скучно. Танцуя и постепенно обнажаясь, она перекидывалась с Софи различными фразами. Иван Иванович слов не понимал, но по интонациям догадывался о смысле. Это был ленивый, ни к чему не обязывающий, будничнейший бабский треп. Что-то об утренних делах, что-то бытовое. Ну, например, Софи спрашивала: «А ты ему кофе варишь до пены?» «Нет, он этого не любит», — отвечала танцовщица. «А у меня Жан непременно требует, представляешь? Яйцо, сыр и пену...» «Ну, это не самое страшное», — рассмеялась танцовщица и сбросила еще что-то из одежды. Постепенно на ней остались только трусики и ажурный лифчик, и Иван Иванович еще был в состоянии заметить, что тело у нее давно не юное и ступни крупного размера. Тут снова раздалось: «Месье». «Мадам», — произнес он непослушными губами. И вновь те же таинственные руки швырнули на стол новый счет. Два холодных глаза смотрели на него из мрака. Он повернулся к Софи, но вместо нее сидела уже другая, и она сказала решительно: «Давай, давай, плати!» Он это понял. Достал деньги, медленно начал пересчитывать. «Давай, давай...» — снова приказала она слишком жестко. «Дура, — пробормотал Иван Иванович, — как бы ты заговорила, если бы видела меня в «Мютюалитэ»!..» Он досчитал деньги негнувшимися пальцами и вручил их привидению. «Надо бежать», — подумал он. За спиной кто-то рассмеялся. Иван Иванович подумал, что это над ним. С трудом оглянулся. Уже за многими столиками сидели посетители, и пили, и смотрели на эстраду. Ночная жизнь начиналась. Новый бочонок с бутылкой повис над столиком. «Надо бежать!» — снова подумал Иван Иванович и резко поднялся. «Нет, нет, не уходи! Побудь еще со мною!» — это или что-то подобное проговорила его новая дама и ухватила за рукав. Она призывно заглядывала ему в глаза, но ее лицо Ивану Ивановичу не понравилось. Он рванулся. И снова послышался смех. Он неуклюже побежал меж столиками. Смех за спиной усиливался. А он с трудом пробирался к выходу. Он был в плаще. На левой руке болтался зонтик. Он скатился с крутой лестницы. В вестибюле с кем-то беседовала Надин, а может быть, и Софи — обрабатывали очередную жертву.

И вот он распахнул дверь и вывалился на улицу. Шел дождь. Он порылся в карманах — денег не оставалось даже на такси. И он пошел пешком, сопя и плача, то ли оттого, что Надин съела все его каштаны, то ли оттого, что забыл на столике недокуренную пачку «Примы», — трудно сказать.